

90 лет исполняется 19 сентября поэту и переводчику Семену Липкину. Вся прошедшая эпоха — выдающиеся люди и грандиозные события, известные многим лишь только по учебникам, книгам и мемуарам, — составила сюжет его скромной жизни. Пакет литературных премий и отношение литературного сообщества к этому человеку лишь только подтверждает уникальность его личности.

Екатерина Варкан

«Я РОДИЛСЯ ПРИ ЦАРЕ И ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»

Исторический вестник - 2001 - 15 сент. - с. 9, 11
Вспоминает поэт Семен Липкин

- СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ, вы прожили долгую жизнь, и много всего происходило на ваших глазах. Какие события вы бы отметили?

— События раннего детства. Я родился при царе. Большевики к нам в родной город Одессу пришли поздно, в 1920 году, так что девять лет я прожил в нормальных условиях. И первое впечатление детства — это Февральская революция, именно Февральская, а не Октябрьская. Вообще Октябрьской революции у нас как таковой и не было, а было просто вступление большевиков в город в 1920 году. А во время Февральской мне, шестилетнему, запомнилось, что незнакомые люди целовались друг с другом на улицах, радуясь (как потом стало ясно) свержению самодержавия.

Сильные впечатления — мои встречи с писателями старшего поколения. Подростком я познакомился с Багрицким. Потом с Бабелем, Волошиным, Мандельштамом, Андреем Белым. И эти события до сих пор помню во многих деталях. И, наконец, война. Я на пятый день был мобилизован и (правда, с некоторыми послаблениями как литератор) принимал участие в Отечественной войне. Так случилось, что в 1942 году попал в окружение, мы пробыли в окружении целый месяц. Для меня, вследствие некоторых особенностей моей биографии, поспать к немцам было бы особенно тяжело. И сейчас мне часто снятся стычки с немцами, те или иные места, куда мы попадали, когда пытались выйти к своим.

— **А время репрессий как-то отразилось на вашей жизни и жизни ваших близких?**

— На жизни моих близких не отразилось, если не говорить о внутренних переживаниях. Репрессии начались, в сущности, с самого начала советской власти, а в 1937 году лишь ужесточились. Репрессиям подвергся мой друг Василий Гроссман за свой роман «Жизнь и судьба». Он раньше ушел из жизни, умер в 59 лет вследствие преследований. И я горжусь тем, что спрятал этот роман и сумел с помощью Войновича передать рукопись за границу, где он был напечатан и стал известен всем.

У меня была одна из копий рукописи этого романа, которую я хранил в одном нелитературном доме. В то время уже начинали преследовать Войновича, с которым мы были соседями, за публикации за границей. Я ему рассказывал о том, что храню этот роман, и попросил помощи. Он согласился. Рукопись надо было сфотографировать, чтобы вывезти потом

фото пленку. Для предосторожности в тот дом, где можно было это сделать, я отправил свою жену Инну Лиснянскую. Она очень испугалась, когда в подъезде за ней начали следовать двое мужчин в штатском. Все, правда, обошлось, но фотографии тогда вышли плохие. Потом фотографировали еще раз и участвовали в этом уже Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Роман долго не печатали, потому что он был очень большой — 40 печатных листов, это тысяча страниц. Но нашелся некий издатель Дмитрий, серб по происхождению. Он и напечатал роман тиражом в 2 тысячи экземпляров. Еще через несколько лет книгу перевели на французский, и роман стал бестселлером во Франции.

У нас были тяжелые годы, когда мы с Инной Лиснянской во время истории с альманахом

«Метрополь» были вынуждены выйти из Союза писателей. Мы сделали это в знак протеста против исключения из союза двух ныне весьма известных писателей Виктора Ерофеева и Евгения Попова. И тогда получили запрет на профессию.

Как ни странно, однако именно в этот период мы почувствовали

огромный прилив творческого вдохновения, и очень много было написано в то время. И для нас было счастьем, что хоть и не в России — во Франции, Соединенных Штатах — вышли наши поэтические книги на русском языке. Такому прорыву есть простое объяснение и более сложное. Я всегда много времени уделял пе-

реводам, которые, надо сказать, очень любил и благодаря именно переводам восточной классики, народных эпосов довольно близко познакомился с мусульманской и буддистской культурами. Хотя многие считали, и в том числе руководитель издательства «Ардис», что я потратил на это слишком много времени.



На пятидесятилетии Евгения Рейна. Слева направо: Семен Липкин, Евгения Рейн, Инна Лиснянская, Алла Ахундова, Олег Чухонцев. 1985 г. Фото из семейного архива

Словом, нас тогда не посадили, слава Богу, но было тяжело.

— Семен Израилевич, в литературных кругах ваше имя овеяно некой легендой — вы были безупречным человеком с точки зрения гражданской позиции.

— Безупречным человеком я бы не мог себя назвать. Все мы грешные. Но я старался быть честным. Я никогда не подписывал никаких подметных писем, но не могу сказать, что я активно боролся с режимом.

— Вы сказали, что не участвовали в неких акциях. Можно понимать это так, что в какой-то момент позиция ничегонеделания тоже является активным действием?

— Да, наверное. Мой друг Вениамин Александрович Каверин рассказывал, что когда его позвали на собрание, которое должно было исключить из Союза писателей Пастернака, он «смело затаился». Вот и я тоже. Что я сделал? Я рано утром ушел из дому — если будут звонить, то меня нет. Пришел же поздно вечером. Конечно, это мелочь. Кроме того, встречая близких Пастернаку людей, я всегда просил передавать ему привет. Нормально. Я себя не вел храбро. Я вел себя нормально. Это все пустяки по сравнению с тем, что пережили другие люди, но было трудно.

— Семен Израилевич, говорят, вы были у Волошина в Крыму?

— Был в Коктебеле в 1930 году, незадолго до его смерти. Я приехал вместе с моим старшим другом Георгием Шенгели, замечательным поэтом, который дружил с Волошиным. Он меня и привез (Окончание на стр. 11)

(Окончание. Начало на стр. 9)
на его дачу в Коктебеле, а я еще был студентом. У Волошина гости тогда Алексей Толстой, они вообще были на «ты» и дружили. Вересаев, живший рядом, часто приходил.
Из Феодосии мы приехали на тарантасе — еще не было машин. И приехали очень рано, часов в 6–7 утра. Георгий Аркадиевич мне предложил пойти искупаться в море, пока нас устроят, и указал место, где плавают мужчины. Я пришел и увидел, что спиной ко мне стоит крупная голая женщина. Решив, что не понял и попал не туда, пошел на другую сторону пляжа. Там плескались две молоденькие девушки. Я вернулся обратно. И оказалось, что стоявшая спиной полная женщина — это Алексей Николаевич Толстой. Повернувшись, он бросил: «Холодно в море, но бодрит, мерзавец».

Почти каждый вечер в кабинете Волошина собирались люди и беседовали в основном о литературе. Мне было всего 19 лет и, признаюсь, не каждый раз меня приглашали на эти вечеринки. Но пару раз я все-таки на них бывал. Во время одной из встреч обсуждали рассказ Алексея Толстого, который он читал накануне. И я застал беседу на эту тему. Какой именно рассказ, я до сих пор не знаю, но помню хорошо, как Волошин сказал тогда Толстому: «Алеша, каким бы ты был замечательным писателем, если бы был пообращенней».

На этих вечерах гости, собиравшиеся у Волошина, обязательно читали стихи или прозу. Как-то попросили прочесть и меня. Шенгели похвалил мои сочинения, он вообще очень хорошо ко мне относился. А Максимилиан Александрович пригласил с ним прогуляться. Мы пошли к тому месту, где теперь могила Волошина, — нужно было пройти

ему передал тетрадку с переписанными в нее стихами. Помню еще, что на ней был портрет Троцкого и надпись такая, видимо, из его речей: «Грызите молодыми зубами гранит науки». Вот я ему ее и подал. Он посмотрел и вдруг устремил на меня такой острый взгляд и говорит: «А вот это вы украл у Гумилева». Я ответил, что поэта Могилева не знаю. А у меня такие нескладные строчки были:

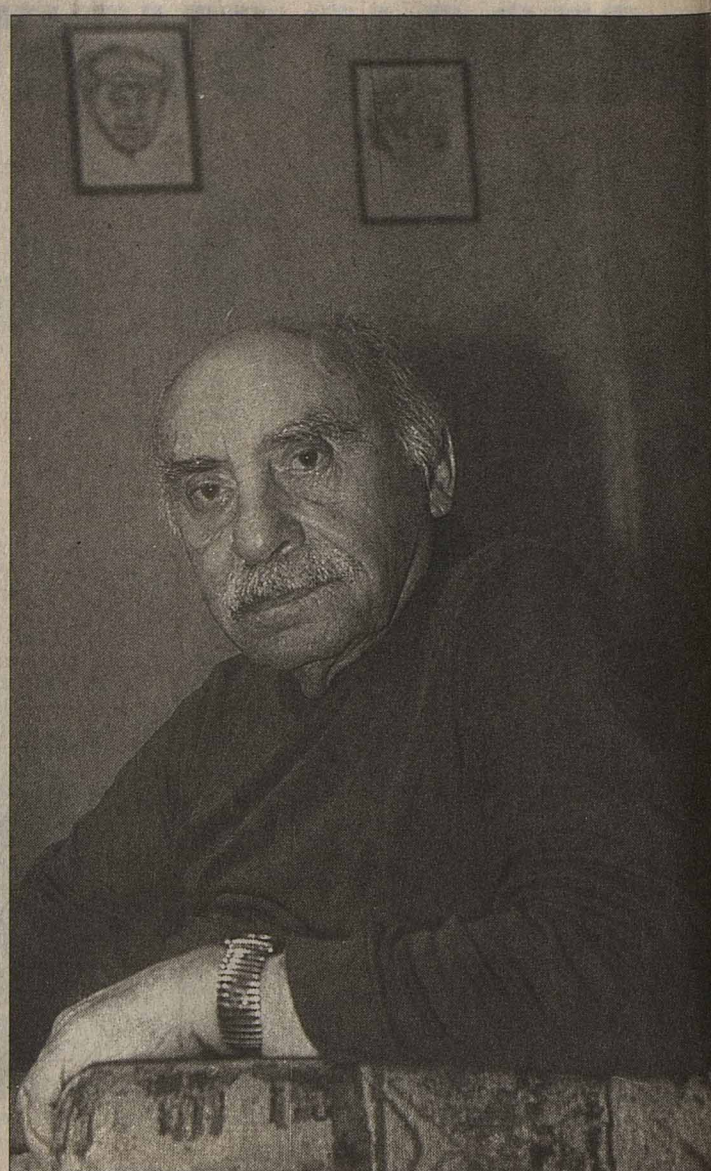
*Лишь движеньем мы жизнь постигаем
И преображаемся в нем.*

Тогда он мне прочел Гумилева: *Ах, в одном божественном движеньи*.

Косным нам дано преображение. Я ему сказал, что поэта Гумилева никогда не читал, и он рассердился: «Ну, а Блока вы знаете?» — «Читал «Двенадцать» — частушки какие-то. Мне понравилось одно место — «У тебя на шее, Катя, та царапина свежа». Тогда он спросил, сколько мне лет? И, узнав, что 15, заметил: «Да, в это время интересуются, какие у девушек шеи». А потом добавил: «Помни, что в газетах печатают плохие стихи, у тебя их много, так вот одно мы напечатаем».

Затем Багрицкий пригласил меня к себе, пообещав показать стихи, которых я не знаю. Он жил на Дальничкой улице, это окраина Одессы, конец знаменитой Молдаванки, и надо было туда добираться на трамвае.

Из портфеля мне сшили курточку и повязали на шею бант. Мама дала 20 копеек на трамвай. Тогда трамвай стоил очень дорого, и за 20 копеек можно было пообедать в столовой. Я вспомнил, что Багрицкий говорил: «Фраера ездят на трамвае, а хожу пешком», и, как он, тоже пошел пешком. Добравшись, увидел какую-то мазанку. Открыл дверь, комната была без окон и очень



Семен Липкин.

«Я РОДИЛСЯ ПРИ ЦАРЕ И ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»

вдоль моря и подняться в гору. Общий смысл сказанного им был такой, что у меня есть удачные выражения, метафоры, но поэта пока нет. Он изложил тогда несколько интересных формул, но я их забыл. Он считал, что поэт делает Бог. А самое важное в поэте — это его внутреннее чувство мира. Техника же приходит позже.

Сам же Волошин читал очень странно — то у него был низкий голос, то очень высокий, почти женский. И вообще он производил очень сильное впечатление.

— Как вам понравился его легендарный дом?

— Я заметил на дереве в саду почтовый ящик. Мне объяснили, что все, кто имеет деньги, туда вкладывали кто сколько мог, чтобы помочь Волошину. Я тоже опустил туда деньги, но немного, ведь я был студентом, и особых средств не имел. Больше, чем все остальные вместе взятые, давал Алексей Толстой — и в ящик, и в руки хозяйну.

— Еще в Одессе вы познакомились и подружился с Багрицким...

— Знакомство с ним случилось в 1925 году. Мне было 15 лет, я учился в художественной школе и посещал там литкружок. Стихи хвалили мои товарищи, такие же мальчики и девочки, как я, и я решил отправиться в редакцию «Одесских известий» их показать. Пришел и у первого человека, которого встретил, спросил, где редактор. Человек поинтересовался, зачем он мне. И я объяснил, что хочу предложить стихи в газету. На что он заметил, что много лет еще пройдет, когда главный редактор станет принимать меня по этому поводу, и отправил к специальному консультанту по стихам. Я оказался в темной комнате, где увидел на столе как бы спящего человека, и обратился к нему: «Товарищ, я принес стихи и хочу, чтобы их напечатали в газете». «Давид Бродский этим не занимается, а Давида Бродского знает вся Одесса», — ответил мне, как оказалось потом, этот самый Давид Бродский. Но он пообещал, что сейчас придет именно тот, кто и занимается чтением стихов всех авторов, желающих славы.

И действительно, вскоре в комнату вошел высокий человек с ранней сединой. Ему было лет тридцать, но уже сказывалась астма: он тяжело дышал. И одет был очень бедно. Он спросил, кого из поэтов я знаю. А я уже был знаком с русской классической поэзией, читал Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова. «Все это старые поэты», — сказал он. — А кого вы знаете из современных?» — «Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого». Он спросил: «А кто лучше?» — «Эдуард Багрицкий. Демьян Бедный пишет, как в газете, но в рифму. А Багрицкий про море пишет хорошо». Он поинтересовался, уверен ли я, что Багрицкий неплохой поэт. Я подтвердил. «Так вот, Эдуард Багрицкий буду я. Ну, дайте, что вы там написали». Я

темная. Ночью, видимо, шел дождик, и поставили корыто, в которое я чуть не угодил. Вот в такой бедности он жил. Багрицкий, увидев меня, сказал: «Снимите с себя бант, а то вы похожи на артиста без ангажемента», а потом стал читать Блока, Белого, Брюсова, Бальмонта, того же Гумилева. Он рассказал, что очень любил Гумилева: «Но мне теперь душно его читать, я тебе дарю его книги, потому что хочу с ним расстаться». Я прочел и просто сошел на нем с ума. Все, что я потом сочинял, было под Гумилева.

Мы подружались, и как-то он зашел ко мне в школу, предложил пойти на море и отпросил у директора. Был май, и в Одессе еще не купались. Я разделся, а он снял только рубашку, и открылось белое и нездоровое его тело. Я залез в воду и, расшалившись, стал бить на него волну и зазывать в море. Оказалось, что певец моря не умеет плавать. Он рассказал, что пишет стихи об украинском крестьянине силлабическим стихом, как Шевченко. Считается, что это очень трудно сделать по-русски, даже Солугуб не справился, когда переводил Шевченко. Багрицкий предложил мне послушать отрывок из знаменитой поэмы «Дума про Опанаса», в котором шла речь о забеременевшей крестьянке. Фрагмент этот потом не вошел в поэму, но Багрицкий вставил его в либретто, которое написал по мотивам поэмы.

В Одессе тогда мало кто его знал, и жилище ему материально очень плохо. Потом Багрицкий рассказывал, что как-то к нему пришел Катаев и сказал: «Я купил тебе билет до Москвы». И он поехал. Единственное, что взял из Одессы, это клетку со щеглом. Он уехал и стал знаменит.

Прошло два года, и он снова приехал в Одессу, но это был уже настоящий поэт — в кожаной куртке, кожаной фуражке и крагах — за славою приехал на родину. В Доме писателей прошел его вечер, который имел успех, и потом мы гуляли, а я рассказал, что собрался ехать в Москву учиться, потому что местный университет закрыли и вместо него организован Институт народного хозяйства, где преподавали на украинском языке. Я украинский люблю и теперь могу разговаривать украинскую мовою, но учиться по-украински я не хотел. «Правильно», — сказал он, — в Одессе вы пропадете. У вас есть способности: есть слух, не очень точный, но поэт быть из вас выйдет поэт. Я не думаю, что большой, но поэт выйдет. Я на этом собаку съел».

В Москве Багрицкий снимал пол-избы в Кунцеве (тогда это была деревня), и я по его приглашению приехал. В его доме я увидел аквариум — он разводил рыбок. А поселил он меня к тому же Давиду Бродскому — вдвоем снимать квартиру было дешевле. И Эдуарда Георгиевича теперь я видел почти каждый день, к нему вообще приходило много гостей.



В Сталинграде. 1943 год.

— Кого вы помните из особо близких ему людей?

— Багрицкий высоко ценил Нарбута; тогда они были женаты на сестрах. Нарбут — из украинской дворянской семьи, вступил в Компартию, стал сотрудником ЦК. Предполагаю, что и издали Багрицкого с помощью Нарбута. В свое время, как и у многих партийных лидеров, у него начались неприятности — появились публикации, что когда-то он, попав в плен к добровольцам, выдал коммунистов. Его исключили из партии, но не арестовали, а сделали это позже. Он погиб по пути на Колыму: утонул, когда плыл на лодке. Приходили часто к Багрицкому Светлов и Бабель.

— В каком году вы познакомились с Бабелем?

В 30-м или 31-м в Москве. Он был знаменитый, при этом общительный, веселый, очень умный и сильно любил Багрицкого, что было видно. Они были близки. Часто говорили о политике (но не в моем присутствии), о том, что происходит в стране. Багрицкий, правда, потом не сдерживался и пересказывал мне. Тогда очень все ополчились на роман Замiatина «Мы». И Бабель, и Багрицкий считали его большим писателем и негодовали по поводу вакханалии, которая развернулась в прессе против Замiatина, в результате чего Замiatин вынужден был уехать за

границу. И Троцкого тогда тоже выслали из Москвы.

В Москве я несколько раз бывал у Бабеля, но помню, как в Одессе встретил его на привокзальной площади. Развеселившись, он пошутил: «Когда я приеду в Одессу, я оробождаюсь от уз грамматики. Я подхожу к любому киоску и говорю: «Дайте мне стакан воды». Он подарил мне книжечку со своей пьесой «Мария» и драгоценной надписью для меня. Позже Бабель получил дачу в Переделкине и начал обустраиваться, но его арестовали.

Вообще некоторые встречи были весьма необычны, например, с четой Ежовых. Жена Ежова была одесситка и участвовала в литературной жизни Одессы еще в те времена, когда там был Багрицкий. И именно он как-то взял меня к Ежову уже в Москве. Оказалось, что Ежов очень не большого, как я, роста. Багрицкий читал свои стихи с большим подъемом. Ежов заметил, что стих у Багрицкого хороший, но ему надо быть ближе к жизни. Потом арестовали и Ежова, и его жену. Багрицкого же миновала эта судьба.

Багрицкий вообще был очень просветский настроен, более чем лояльно, я бы сказал, страстно. И другой одессит, Катаев — всегда лауреат, орденноносец, во всем почете. Он не всегда хорошо по-

ступал, в частности, голосовал за выссылку Солженицына. Потом он мне говорил, что это единственное правильное решение, иначе Солженицына здесь бы задушили. Когда мы жили в Кунцеве, я заметил, что Катаев при мне у Багрицкого не бывал — они были в ссоре, хотя именно Катаев сыграл большую роль в переезде Багрицкого в Москву. Но ни с одним, ни с другим я никогда не обсуждал эту тему, поэтому точно не знаю, как это произошло, но, наверное, понимая причину ссоры, Катаев написал престельный рассказ, который назывался «Бездельник Эдуард». И в основном герое действительно прочитывался Багрицкий. Речь шла о том, что герой живет только стихами, птицами, рыбками, но не кормит жену. Багрицкий страшно обиделся, и с тех пор они не общались, и ни разу я не видел Катаева в доме у Багрицкого.

С самим же Катаевым я познакомился еще в Одессе. Там на Лонжероне было место, где собирались все пишущие местные люди. Как-то, году в 27–28-м, привели туда заехавшего на родину Катаева. Он с нами познакомился, и помню только одно — он разделся и сказал: «Сейчас молодой бог войдет в море». И действительно он был красив: высокого роста, хорошо сложен.

Уже много позже мы встречались с Катаевым в Переделкине. Когда мы с Инной Львовной вышли из Союза писателей, Катаев прочел наши совместные книги, изданные в Америке, и воспылал добрыми чувствами. Валентин Петрович хвалил наши стихи и делал это так, как будто они напечатаны в СССР, и ни слова не было о том, что с нами случилось. Мы приходили к нему в гости, вместе гуляли. И вот однажды я ему заметил, что как-то делает он много ненужного, слишком хвалит во всем совет-

меня ругал — вроде бы хорошие мысли я плохо излагаю. Но одно стихотворение ему понравилось, и он при мне позвонил Зенкевичу, который заведовал стихами «Новом мире», и порекомендовал. С его помощью оно и было там напечатано. Это произошло в марте 1930 года. Когда лет пять назад я рассказал эту историю Олегу Чухонцеву, члену редколлегии «Нового мира», он не полегил и достал этот номер из архива, прочел и заметил, что действительно в тех стихах что-то было, хорошее начало.

Нельзя сказать, что мы были близкими друзьями с Мандельштамом, но встречались часто. И однажды во время очередной поэтической беседы я заметил, что Катаев а рассказывала ей обо мне и познакомил нас. Она хорошо относилась к моим стихам, и с тех пор во всех своих суждениях о современной поэзии обязательно упоминала мое имя. Кстати, Анна Андреевна специально приехала на мой первый творческий вечер в ВТО в 1961 году, хотя была уже нездорова.

Анна Андреевна очень не любила, чтобы разные люди были у нее в доме в одно время. Если она назначала кому-то свидание, в гости у нее был всегда только этот человек. И вот однажды я пришел к ней и застал там Пастернака, че-

узнал, что им удалось отсюда выехать в Ташкент. Я попросил отпустить и получил неделю. Отправился к ним, и, представляете, приезжаю я, в военном-морской форме, с кортиком на боку, и во дворе, где жили мои близкие, встречаю Надежду Яковлевну Мандельштам. Мы очень обрадовались друг другу, и она рассказала, что здесь живет Анна Андреевна Ахматова. А на другой день передала мне приглашение Анны Андреевны, которая заговорила со мной познакомиться, так как сама была из морской семьи. Стихи мои ее не интересовали, она спрашивала только о морской службе и потом обо мне благополучно забыла. И спустя годы — в 57–58-м — моя приятельница Мария Петровна рассказывала ей обо мне и познакомил нас. Она хорошо относилась к моим стихам, и с тех пор во всех своих суждениях о современной поэзии обязательно упоминала мое имя.

Кстати, Анна Андреевна специально приехала на мой первый творческий вечер в ВТО в 1961 году, хотя была уже нездорова.

Анна Андреевна очень не любила, чтобы разные люди были у нее в доме в одно время. Если она назначала кому-то свидание, в гости у нее был всегда только этот человек. И вот однажды я пришел к ней и застал там Пастернака, че-

ласть в какой-то клуб в районе трех вокзалов. В афише все мы были перечислены — и Пастернак, и какой-то сатирик-юморист. Все, естественно, ждали пародиста. И вот объявили Пастернака, и слушатели решили, что это именно он и есть, а овощ-пастернак — это прозвище такое. А Борис Леонидович решил прочесть стихи о том районе, где проходило выступление, и начал: «Многогошадный, буйный, голошадный...» Такие слова были в новинку для публики, и зал начал хохотать, действительно увлекая в нем юмориста. Он начал смеяться вместе со всеми и объяснил, что, в сущности, все, что пишется, никогда не годится.

С Пастернаком мы не были близкими друзьями, но свет нас еще один интересный случай. Я тогда был уже важным переводчиком. И вот мне дали на отзыв переданного Рабиндраната Тагора, и я отписался о нем с неизвестной мне переводчицей Ивинской. А через некоторое время мне позвонил Пастернак с просьбой, чтобы я указал Ивинской ее ошибки для доработки. Когда мы встретились, я в лицо ее сразу узнал — она сотрудничала в «Новом мире», и ходили слухи, что была привязанностью Пастернака. После исправлений перевод опубликовали. Ивин-



Семен Липкин с художником Владимиром Фаворским (справа).



Участники альманаха «Метрополь» в 1997 году. Стоят: Светлана Васильева, Евгений Попов, Борис Мессерер. Сидят: Белла Ахмадулина, Семен Липкин, Инна Лисинская. Фото Дениса Тамаровского (НГ-фото)



Семен Липкин и Вениамин Каверин (слева). Фото из семейного архива.

ответственности за слово и музыка слова.

— А как вы познакомились с Ахматовой и как выглядели ваши отношения?

— Я познакомился с ней дважды. Во время войны я участвовал в обороне Сталинграда в рядах Волжской военной флотилии — был сотрудником газеты «За родную Волгу». Мое место было в канонерской лодке, две пушки стреляли по немцам, а я описывал, как мы бьем врага. В 1943 году после Сталинградской победы я оказался в Москве по издательским делам — печаталась моя книжка «Сталинградский колабель». Во время войны в Одессе же остались моя мать и сестра, и я

му был немало удивлен. Они беседовали, и Пастернак очень ругал английского писателя Голсуорси — плохо пишет, люди неживые. Говорил долго, но в конце концов ушел. Анна Андреевна рассказывала, что до меня он ругал Голсуорси еще полчаса. Я полубожеествовал, почему такой некий писатель его так заинтересовал. — «В том-то и дело. Давным-давно, в 30-е годы, Пастернака выдвинули на Нобелевскую премию, но получил ее Голсуорси».

С Пастернаком на моей памяти произошел еще один забавный случай. Были времена, когда поэты обязывали бесплатно выступать в рабочей среде. И вот такая группа (в ней был и я) отпра-

ская снимала домик в Переделкине около пруда. Она пригласила меня, был Борис Леонидович, мы устроили праздник с выпивкой. Вскоре Пастернак собрался домой, и мы вышли его проводить. Он ее поцеловал и ушел, а потом вернулся и поцеловал снова. Во всем этом была какая-то трогательность, и было видно, что он очень ее любит.

Семен Липкин может вспомнить и не такое. Хотя некоторые из его воспоминаний были опубликованы, в нашем живом разговоре открылись новые подробности эпохи и составивших ее славу людей.